



Интервью с Леонидом Евсеевичем КЕСЕЛЬМАНОМ

«...СЛУЧАЙНО У МЕНЯ ОКАЗАЛСЯ БЛОКНОТ “В КЛЕТОЧКУ”...»

Кесельман Л. Е. — окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета, многие годы работал в петербургских социологических институтах РАН, с 2004 года живет в Германии. Основные области исследования: производственная социология, прогнозирование социальных процессов, разработал и успешно применял технологию уличных опросов. Интервью состоялось в 2005 году.

На рубеже 80-х — 90-х Леонид Евсеевич Кесельман с его крохотной группой единомышленников сделал невозможное. С помощью технологии уличных опросов они выявили и зафиксировали отношение населения Ленинграда/Петербурга к важнейшим политическим событиям тех лет. Это была феерическая продуктивность. Бывало, утром я покупал газеты с результатами опроса Кесельмана, проведенного накануне, днем слышал его комментарии по радио, а вечером видел его на экране телевизора. Внешне мы были слегка похожи, и в метро у меня иногда спрашивали: «Вы Кесельман?». Я честно отвечал: «нет» и с гордостью добавлял: «но я его знаю».

Интервью длилось более полугода; было трудно начать и сложно завершить. Кесельман, отвечая по электронной почте на мои вопросы, написал очень много. Здесь — лишь фрагменты нашей беседы. Но и в них просматриваются жизненные коллизии, которых не было у российских социологов первого поколения, но которые испытали шедшие за ними.

Кесельман Л. Е.: «...Случайно у меня оказался блокнот “в клеточку”...»¹

Меня сформировали события, укладываемые в дюжину лет, начавшихся возле моего 13-летия

Интервью – не мемуары: не тот уровень осмысления прожитого, не та степень интимности в изложении. Согласившись на беседу со мною, что ты попытаешься высказать?

В процессе этого своеобразного кейс-стади попробуем восстановить процесс формирования и суть того своеобразного «советского» способа миропонимания, который лег в основу моих концептуальных схем и социального воображения. Не сам же я сочинил всю ту систему социальных координат, в которой худо-бедно существовали все мы до того, как обнаружилось, что остальная часть человечества живет в ином пространстве представлений об устройстве мира, в который погружены люди.

Хорошо, начнем с твоих первых впечатлений о мире, в который ты попал шесть десятилетий назад.

Появился я на свет вьюжной зимой 1944 года в Казахстане, неподалеку от станции Талды-Курган в бараке эвакуированных из Одессы. Осенью 1941 года моя мама – Ида Розенберг с годовалым ребенком – моим старшим братом – успела попасть на один из последних транспортов, уходивших из осажденного черноморского порта. Отец моего старшего брата, первый муж мамы, – военврач, начальник военного госпиталя Анатолий Беруль – остался в осажденном городе вместе со своим госпиталем, где и погиб. Под Новороссийском вырвавшийся из осады транспорт с одесскими беженцами был атакован немецкими бомбардировщиками, но маме с ребенком на руках удалось спастись с тонущего корабля. Из Новороссийска железнодорожными эшелонами – дальше на восток, пока не оказалась в Талды-Кургане.

Отец мой – Евсей [2] Кесельман, румынский подданный, осенью 1940 года жил в местечке Килия, находившемся на территории Бессарабии. Похоже, в тех местах русский язык в диковинку не был – по крайней мере, мой отец им владел, как родным. Впрочем, окончив Бухарестский университет, он свободно владел и десятком других, экзотичных для тогдашней советской жизни языков: итальянским, французским, немецким, но про это он старался никогда не говорить. Даже о его университетском прошлом я узнал после его смерти. При мне родители всегда говорили на русском, а если им надо было обсудить что-нибудь, не касающееся детских ушей, переходили на идиш.

Университетское образование в довоенной Румынии было доступно далеко не всем, а отношение советской власти к его обладателям и прочим буржуазным элементам для освобожденных от «румынского ига» доблестной Красной Армией не было особым секретом. Хотя отец не афишировал свое «буржуазное прошлое», его мобилизовали в «трудовую армию» – нечто среднее между невооруженным штрафбатом и стройбатом. В составе одного из подразделений этой трудармии он попал в Казахстан, где и встретился с молодой красивой вдовой, потерявшей два года назад на фронте своего мужа. Неожиданно попав в среду, где большинство ранее приобретенных и всячески поощрявшихся житейских навыков, считавшихся в его прошлой жизни положительными, оказались запретными, он так и не смог адаптироваться к советской действительности и умер в 1960 году.

После эвакуации мы несколько лет пытались обосноваться в знакомых отцу

1 Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 5. С. 2–13.

бессарабских городишках: Килие, Болграде, Измаиле, Черновцах. Первые два знаю лишь по родительским рассказам, но Черновцы (у нас произносилось «Черновицы»), в которых мы жили около года – до середины 1949 года, – помню более отчетливо. Помню вечернюю «Кобылянскую» – центральную улицу города, вечерами ее заполняла прогуливающаяся публика, демонстрировавшая окружающим знаки послевоенного благополучия – габардиновые одежды и упитанных еврейских детей. Ни я, ни мой старший брат особой упитанностью в то время не выделялись, да и особенного благополучия, как, впрочем, и противоположных крайностей, в семье не было. В Черновцах я приобрел опыт жизни в детском садике. Вначале это был обычный детский сад, потом в связи с какими-то семейными проблемами меня отдали в «круглосуточный садик», в котором надо было оставаться на неделю. Садик был расположен в десятке трамвайных остановок от дома, но, несмотря на это, я, вызвав всеобщий переполох, сбежал из него, и, пройдя пешком «полгорода», явился домой с заявлением о том, что в «круглосуточный» ходить больше не буду. Меня вернули в обычный.

Что было дальше?

Поздней осенью 1949 года мы переехали в Трускавец. Здесь я пошел в первый класс школы, которую закончил весной 1961. В этом городке и происходила основная часть моей «социализации». Вообще, «сформировавшие меня» события укладываются, примерно, в дюжину лет, начавшихся где-то возле моего 13-летия. Там и находится большая часть «населения» моего социального пространства.

В то время, когда мы оказались в Трускавце, расположенном на территории недавно присоединенной к СССР («освобожденной») Западной Украины, здесь еще продолжалось активное сопротивление так называемых бандеровцев. Какая-то часть их укрывалась в окрестных лесах, остальные жили под видом лояльных обывателей. Ночами они нападали на часовых или на дома советских активистов. Запомнились почти регулярные, под оружейный салют, похороны солдатиков с одинаковыми шрамами от удара ножа на левом виске. Венки из остро пахнущих еловых веток, духовой оркестр, выдувающий траурную мелодию, и песня, которую мы разучивали на уроках: «Замучен тяжелой неволей, ты славною смертью почил, ...». Заупокойная мелодия о том, что «из наших костей подымется мститель суровый» вызывала видения покойников. Ребенок я был впечатлительный и перед этими уроками пения меня охватывал ужас. Другое дело – безудержный звонкий оптимизм песенки из кинофильма «Дети капитана Гранта», увертюру Дунаевского к которому можно ставить в качестве музыкального эпиграфа к главным радостям жизни – летним поездкам к Черному морю в Одессу.

В послевоенные годы для нас детей, чьи родители, как правило, прибыли в эти места из восточных районов страны, эмоционально-оценочное значение слова «бандеровец» почти не отличалось от слов «гитлеровец» или «фашист». Гитлеровцев мы победили, дойдя вместе с добродушным русским богатырем Алешей (в исполнении Бориса Андреева) до их логова в Берлине, а здесь остались разбежавшиеся по лесам банды их наемников, переметнувшиеся на службу американским империалистам. Короче, бандеровцы – это наши смертельные враги, убивающие невинных советских людей. Но «наше дело правое, мы победили», и на главной улице Трускавца олицетворением этого стоит в полный рост на высоком постаменте «бронзовый» генералиссимус. Как и большинство главных улиц в тогдашнем Советском Союзе, она носила тогда имя Сталина, после XX съезда – Ленина, теперь – Степана Бандеры. Генералиссимуса давно сняли, и не исключено, что скоро на его месте появится казненный доблестными советскими разведчиками ОУНовский лидер.

Во второй половине 50-х у тебя начинало формироваться отношение к социальной

реальности. Ты помнишь, как это происходило?

Мое отношение к советской реальности формировалось в условиях перемен, начавшихся после сталинских похорон. О том, что представители верховной власти, чьи красивые портреты вызывали искренний детский восторг, могут быть неправы, я начал догадываться летом 1953, когда узнал, что Берия оказался вражеским агентом, за что был арестован, судим и расстрелян. Однако и после этого честные, мужественные лица, возвышавшиеся над золотыми маршальскими погонами и грудью, увешанной орденами и медалями, еще какое-то время убеждали меня в мужестве и справедливости их носителей.

Представление об «историческом значении» XX съезда КПСС возникло в моем сознании, скорее всего, позже самого этого события – в феврале 1956 мне едва исполнилось 12 лет, однако «эзоповы» - при детских ушах - разговоры старших о содержании хрущевского доклада я помню отчетливо, ведь все не предназначенное для детских ушей вызывает у них особый интерес. К таким разговорам я прислушивался очень внимательно. К этому времени я уже регулярно читал не только «Пионерскую правду», но и «взрослые» газеты.

Телевизоров в нашем быту тогда не было, впервые я увидел настоящий телевизор – КВН с большой линзой-аквариумом перед крохотным экраном – ближе к окончанию школы, где-то в 1959. Визуальную информацию о событиях в мире мы получали в основном из киножурналов, обязательно предварявших показ художественного фильма. В «Новостях дня» можно было увидеть лишь «внутренние сюжеты», картинки из зарубежной жизни давались в «Иностранной кинохронике». Хорошо помню кинохронику о венгерских событиях осени 1956 года. Повешенные на будапештских столбах, автоматчики на броне советских танков. Показывали и кадры Суэцкой войны.

Важным источником информации о мире был в это время радиоприемник, по нему можно было слушать не только Москву или Киев, но и Варшаву или Краков. Особенно хорошо принималась у нас Варшава, чьи передачи позволяли узнавать о полузапретных западных музыкальных новинках задолго до их появления на самопальных пластинках, сделанных из старых рентгеновских пленок.

Да, действительно, яркие впечатления...

После седьмого класса почти половина ребят пошла работать или поступили в средние училища или техникумы. Поэтому в старших классах нас осталось совсем мало: девять девочек и трое ребят. Двое из троих – я и Игорь Куцевич в это время увлеченно играли в шахматы и с не меньшим азартом таскали на тренировках штангу. Третий – Володя Павленко, закончил потом философский факультет, и сейчас, как и я, работает в Социологическом институте РАН. Игорь - тоже в Петербурге. Несмотря на его несомненный поэтический талант, он после школы пошел во Львовский медицинский. Закончив его, подался в аспирантуру на кафедру спортивной медицины в Ленинградском медицинском и одновременно поступил на психологический факультет университета. Какое-то время руководил специальной лабораторией, разрабатывавшей психологические тесты для отбора летчиков в гражданской авиации. Год назад выпустил свой первый поэтический сборник. Мое сближение с поэтическим миром произошло не без его влияния.

Не мог бы ты вспомнить о том, что тебе нравилось читать?

В шестом-седьмом классе то была преимущественно приключенческая литература, причем некоторые книги не просто прочитывались, но отдельные их сюжеты подвергались в детском воображении дальнейшему развитию. Особенно нравилось мне развивать в своем воображении натуральное хозяйство «Робинзона Крузо». Среди сохранившихся в памяти: «Путешествие Гулливера», «Граф Монтекристо»,

«Остров сокровищ», «Дети капитана Гранта», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «20 тысяч лье под водой», «Всадник без головы», «Айвенго», «Легенда об Уленшпигеле», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль», «Человек-амфибия», «Туманность Андромеды». Но особое впечатление произвели на меня «Мартин Иден» и северные рассказы Джека Лондона. Кто-то из нынешних знакомых, увидев мое фото того времени, заметил: «похож на юношу, начитавшегося Джека Лондона». Возразить нечего.

Мне повезло поспеть к началу возвращения долгое время не издававшихся, покрытых ореолом полузапретности книг; у таких читателей, как я, этот ореол порождал дополнительный интерес. В Трускавце был неплохой книжный магазин, но самую «ценную» литературу мы доставали у продавцов выносных книжных лотков – с небольшой – «по знакомству» – наценкой. Так я стал обладателем собственного тома с текстом «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца». Эта книга в то время была буквально растаскана на цитаты. Особенной популярностью пользовалась она у участников бесконечных шахматных поединков, среди которых мы с Игорем были далеко не последними. Таким же образом приобрел я «Приключения бравого солдата Швейка», бывшего, наряду с великим комбинатором, источником нашего пижонского цитирования. Тогда же я приобрел трехтомник Михаила Кольцова; «Три товарища» и «На Западном фронте без перемен» Ремарка; «Фиесту» и «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя; «Конармию» И. Бабея и рассказы М. Зощенко.

Мои школьные успехи в последних классах школы росли обратно пропорционально усилиям, затрачиваемым на освоение школьной программы. Уроки после школы я почти не готовил, но читал очень много.

В 1961 году я закончил школу, получив вместе с аттестатом зрелости специальную бумагу – «свидетельство о квалификации лаборанта «химика-биохимика». К окончанию школы я выполнял норму второго спортивного разряда по тяжелой атлетике (при собственном весе 56 кг. выжимал 75 кг., столько же поднимал в рывке и 105 – в толчке), такая же «спортивная квалификация» была у меня и по шахматам. В последнем классе я умудрился заработать в качестве руководителя шахматного кружка в местном дворце пионеров почти год производственного стажа.

Поиски себя

С этим багажом ты поехал в Ленинград. Как все складывалось?

После школы ветер дальних странствий дунул в мои книжные паруса и двинул инфицированное «одесскими» впечатлениями дитя романтического времени в Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ). Для поступления не хватило каких-то баллов, и следующий год пришлось провести в Трускавце. Вначале в качестве ученика краснодеревщика на местной мебельной, а затем «наблюдателем» трускавецкой гидрогеологической станции, осуществлявшей мониторинг местных минеральных источников. Но основным содержанием жизни было чтение и по преимуществу эмоциональное освоение прочитанного. «Звездный билет» В. Аксенова как бы легализовал новый способ видения и существования в мире сохраняющих свою власть жестких партийных директив и стал чуть ли не манифестом того слоя, идентификация с которым к тому времени была для меня и близкого мне окружения абсолютно естественной. Тогда у меня начало формироваться отчетливое осознание своего неприятия официальной «партийной идеологии».

...и тебя снова потянуло в Ленинград?

В следующем году я опять поступал в «свою корабелку» (ЛИИВТ), но перед сочинением по литературе умудрился сильно простыть. Писать без грамматических

ошибок я и сейчас не мастак, а тогда с температурой под 40 это оказалось просто невозможным. Пришлось снова корректировать учебный план. Возвращаться в Трускавец было неловко, и я пошел в путевые рабочие треста «СевЗапТрансСпецСтрой» строить подъездные пути. Жил «по лимиту» в общежитии.

Почти одновременно со мной в нашей бригаде путевых рабочих появились двое «художников» из Челябинска – Колька Рыжков и Володя Мишин, не сдавших вступительные экзамены в Мухинское училище. На работу они часто ходили с листами ватмана и в свободные минуты норовили рисовать. Но чаще обсуждали работы своих коллег, работавших в русле отвергавшихся советским официозом отклонений от классического реализма – импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма и, страшно сказать, абстракционизма. Вскоре мы стали друзьями. Ребята открывали для меня миры Ван Гога, Сезанна, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Матисса, Моне, Пикассо, Сальвадора Дали, я им «взамен» – читал «с выраженьем на лице» ироничного Михаила Светлова и восторженно романтического Эдуарда Багрицкого; популярного открывателя бунтарских истин Евгения Евтушенко или ранние вербальные изощренности вокруг «Треугольной груши» Андрея Вознесенского.

Иногда мы выбирались в кафе «Восток» на улице Правды, где проходили встречи с «молодыми поэтами» и первыми исполнителями «авторской песни», или в «Кафе поэтов» на Полтавской, где можно было слушать читавших только что написанные стихи и обмениваться копиями распечатанных на пишущей машинке поэтических и других литературных и философских текстов. После публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» мне в какой-то момент показалось, что и в самом деле настало «время, когда пусты лагерь, а залы, где слушают люди стихи, – переполнены». Казалось, стоит только назвать вещи своими именами, и окружающий мир сразу же преобразится. Надо было только найти эти слова.

Но ты не оставлял мысли о получении высшего образования...

Приближалась осень 1963 года, а с ней и призыв в армию. И хотя армия в то время еще не успела превратиться в то пугало, которым она является сейчас, перспектива, как минимум, трех лет солдатчины у меня особого восторга не вызвала, и я пошел в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), главным достоинством которого было наличие в нем военной кафедры.

В институте, кроме нескольких специальных библиотек, была и довольно богатая «общая» – с художественной и прочей «неспециальной» литературой. В этой библиотеке я почти сразу стал «своим» читателем, пользуясь возможностью в числе первых читать свежие литературные журналы. Но главное, завоевав своим восторженным интересом к книгам доверие у их хозяек, я получил и доступ к тем полкам, на которые они должны были откладывать книги, изымавшиеся из открытого доступа. Это было несколько шкафов в самом деле «запрещенной литературы», которую настоящий советский человек должен был «перед прочтением сжечь».

Чего там только не собралось за долгие годы! Все издания Б. Пастернака, снятые с открытого доступа после его награждения Нобелевской премией. Еще не реабилитированный О. Мандельштам, Н. Гумилев, М. Цветаева, почти вся поэзия начала века. На тех же полках оказались сочинения Ш. Монтескье «О духе законов» и «Персидские письма», в которых я обнаружил показавшиеся мне убедительными рассуждения о принципах и способах построения «справедливого общества». От Монтескье я перешел к Дидро и Вольтеру, потом к другим энциклопедистам. Их рассуждения, дошедшие до меня с задержкой почти в два столетия, как бы открывали передо мной смутно подозревавшиеся очевидности. Чем больше я осваивал это пространство смыслов, тем явственней становились масштабы пробелов в моем образовании. Ради доступа к этим запретным плодам стоило корпеть над заданиями

по математическому анализу, начертательной геометрии и сопромату, не имевшими ничего общего с все больше затягивавшей меня «этикой и эстетикой» человеческих отношений.

И что?

Учился я на своих «мостах и тоннелях» без особого восторга, все чаще предпочитая ЛИИЖТовским занятиям университетские лекции И.С. Кона или М.С. Кагана. Лекции эти проходили обычно в большой аудитории истфака, при большом стечении не только университетского народа, но и множества таких же восторженных идиотов, каким был в это время я сам. Однажды М.С. Каган заметил, что современный интеллигентный человек должен еженедельно прочитывать не меньше трех книг объемом в 300–350 страниц каждая, и я с ужасом отметил, что не всегда дотягиваю до этой нормы. И все из-за того, что массу времени должен тратить на совершенно не нужные мне занятия. Выяснив, что перевестись из ЛИИЖТА в университет нельзя, я забрал свои документы и пошел сдавать вступительные экзамены на отделение этики и эстетики философского факультета.

На экзамене по литературе я выбрал свободную тему «Что такое в жизни счастье?». Но разве можно на такую тему в прозе? И я написал сочинение в стихах. Получился прекрасный триптих, каждая часть которого демонстрировала свою философию счастья. Тут было и счастье свершившейся мечты, и счастье трусливого обывателя, и счастье самоотверженного подвига. Я был убежден, что за такое сочинение ничего кроме «пятерки» поставить нельзя. Но мне за него даже двойку не поставили. Кол!

Этого только и ждали в военкомате, и в ноябре 1964 я оказался в эшелоне, везущем новобранцев на Северный Кавказ, в Махачкалу. Впрочем, саму Махачкалу я тогда не увидел. Необычно теплой для декабря ночью нас выгрузили недалеко от нее на станции Манас, где мы успели окунуться в еще не остывшее Каспийское море, а утром нас повезли на грузовиках дальше в горы, на окруженную двенадцатью рядами колючей проволоки «площадку» с пусковыми шахтами для баллистических ракет, работавших на жутко ядовитом «гептиле».

Таким образом, начались «армейские университеты»?

В начале был «карантин», официальной целью которого была подготовка новобранцев к воинской присяге. Но основная задача, которую решали тогда наши командиры, сводилась к выбиванию из наивно пытавшихся сохранить свою естественную человеческую самостоятельность новобранцев всякую мысль о возможности делать что-либо «не по приказу». Мои «студенческие» замашки и привычка «все подвергать сомнению» сразу же стали объектом особо пристрастного внимания моего «взводного», который буквально засыпал меня нарядами вне очереди, количество которых явно превышало общую совокупность аналогичных наказаний, полученных всеми остальными новобранцами нашего взвода. Вряд ли его отношение ко мне диктовалось какими-то «этническими предрассудками», скорее, ему, деревенскому парню, доставляло удовольствие демонстрировать превосходство над «столичным пижоном», который постоянно пытался показать свою «грамотность».

Так как наш «объект» обладал повышенной секретностью и автономными системами жизнеобеспечения, да к тому же мы находились вдали от каких-то мест, куда можно было бы пойти «в увольнение», практики воскресных увольнительных у нас просто не существовало. Попавшие на такие площадки могли за три года службы так ни разу и не увидеть человека, одетого в гражданскую одежду. Но где-то через три или четыре месяца мне все же случилось выбраться из окружения голых скал в расположенную между Каспийским морем и подножием Тарки-Тау столицу «солнечного Дагестана» – Махачкалу.

В местных книжных магазинах можно было найти многое из того, о чем в это же время в Ленинграде и мечтать нельзя было. Понятно, что во время службы в армии я не только рыскал по Дагестану в поисках книжного дефицита. Но именно там я как-то очень быстро научился «не путать» обстоятельства внешнего физического пространства, в котором я вынужден был находиться, с обстоятельствами, затрагивающими мой внутренний мир. Присутствие в этом внутреннем мире (вопреки его кажущейся «виртуальности») было куда более реальным и значимым для меня. Я мог в переполненной десятками людей казарме читать или писать так сосредоточенно, как я не всегда могу сейчас в намного более комфортабельных условиях. Я научился сосредоточенно «думать о своем» и при этом удерживать на периферии сознания («контролировать») массу внешних обстоятельств, иногда довольно быстро меняющихся. Если бы мне перед армией сказали, что я смогу пройти через то, через что потом действительно пришлось пройти, я бы ни за что не поверил. Если бы мне самому пришлось отвечать сейчас на итоговый вопрос своей первой социологической анкеты «Чему тебя научила армия?», я бы, вероятно, ответил: «Уходить в свой мир в самых неподходящих для этого обстоятельствах».

Ты что, опрос провел в армии?

Где-то к концу первого года службы, получив десять суток «с прицепом» за то, что, будучи комсоргом роты, «увел» ее в полном составе в соседнюю станицу в самоволку с ночевкой, я неожиданно был «досрочно» (на двенадцатые сутки) освобожден из Владикавказской гауптвахты и вызван в штаб части в Махачкалу, где мне предложили занять офицерскую должность освобожденного секретаря комсомольской организации воинской части. На мое замечание: «Я еще «молодой», кто меня выберет», мне было сказано: «Выборы – наша проблема, от вас требуется только согласие».

А через месяц после «избрания» я и провел свой первый *анкетный опрос* на тему «Чему научила тебя армия?». Свидетельством общей «надежности» полученных данных были повторяющиеся в разных вариациях ответы комсомольцев нашей части на итоговый открытый вопрос, воспроизводивший название анкеты: «пить водку и врать». В ноябре 1967, чуть ли не день в день через три года после призыва в ряды доблестных вооруженных, я, наконец, был демобилизован.

Что было затем?

Погостив пару недель в Трускавце «на маминых пирогах» и вдоволь попижонив в этом навсегда оставшимся «малой родиной» городе детства, я двинулся в Питер. Марксистско-ленинская этика и эстетика, как собственное сугубо профессиональное занятие, меня уже не привлекала. Да и другие отделения философского факультета тоже утратили ореол источника некоторого сакрального знания, которое могло бы как-нибудь продвинуть к пониманию окружающей действительности. Не говоря уже о возможных способах ее усовершенствования.

Впрочем, была еще только зима, и до вступительных экзаменов в ВУЗ оставалось более полугода. Мне уже было двадцать четыре и надо было вначале найти работу и жилье, учиться теперь я мог только на вечернем или заочном. Пытаясь заглушить смутный «комплекс вины» за свою слишком «сладкую жизнь», доставшуюся мне в последние годы службы в армии, я решил никак не обнаруживать свою причастность к «околополитической элите» и пойти в простые рабочие. Но не на стройку – пронизывающие зимние ленинградские ветра я хорошо запомнил по работе в СевЗапСпецСтрое – а на завод. Большинство заводов давали «лимитную» прописку лишь станочникам или слесарям с относительно высокой квалификацией, которой у меня не было, и мое трудоустройство несколько затянулось. В середине января мне все же удалось устроиться «по знакомству» в заготовительный цех машиностроительного

завода имени Карла Маркса на место, не требующее особой квалификации – рубщиком металла.

Работа немудреная, и на освоение хотя и мощного, но нехитрого, чуть ли не дореволюционного станка у меня ушло не более получаса, однако, нарубив за день тонн пять шестиметровых штанг диаметром 45 мм. на маленькие заготовки длиной около 180 мм., в конце смены рук своих я уже не чувствовал. Но через пару недель я настолько освоился со своей тяжеловесной машиной, что, не особенно напрягаясь, стал выполнять поручаемые задания быстрее, чем мне успевали подготовить следующее. Стали образовываться «окна», которые я, не особенно стесняясь, заполнял чтением предусмотрительно прихваченных с собой, аккуратно завернутых в газету книг или журналов. Цеховое начальство косилось и старалось поскорее нагрузить меня новой работой, но и ее, как правило, хватало ненадолго, и я снова начинал мозолить глаза своим явно несоответствующим сложившимся нормам поведением. Но, сообразив, что мои несколько непривычные для этих мест «заскоки» не представляют особой опасности, ограничилось советом не читать в присутствии высокого заводского начальства и других, изредка заглядывающих в наш Богом забытый цех, гостей.

В результате у меня возникло не только как минимум пара дополнительных часов в сутки для чтения, но и масса времени для осмысления прочитанного. Я давно уже заметил, что думается гораздо лучше не тогда, когда ты сосредоточенно пытаешься осмыслить тот или иной сюжет, а когда занят каким-то относительно однообразным физическим трудом, содержание которого практически никак не отвлекает сознание. Поэтому, вскакивая в пол-шестого утра, чтобы поспеть к шести тридцати к заводской проходной, я никогда не чувствовал, что делаю это по принуждению чуждых обстоятельств, а скорей предвкушал предстоящее вскоре погружение в недочитанное и недодуманное накануне.

От социализации к профессионализации

Почему твой выбор пал на экономический факультет? Какое направление экономики ты выбрал?

В самом начале 1968-го в «братской Чехословакии» произошла смена партийного руководства, стимулировавшая волну надежд на осмысление, а затем и решение массы проблем сложившейся к тому времени социалистической жизни. Из нашей советской прессы понять что-либо о происходящем на родине бравого солдата Швейка было трудно, разве что хорошо освоив науку чтения «между строк». Но Володя Павленко, в детстве освоивший близкие для нашей малой родины (Галичины) славянские наречия, пристрастился в то время к чтению польской и чешской прессы, по какому-то недосмотру свободно продававшейся в ленинградских киосках. Всякая наша встреча тогда начиналась с его рассказов о трудно воображаемых переменах, происходивших в этой, еще недавно ничем не выделявшейся среди других, стране «социалистического лагеря». Эти перемены примерялись к нашей собственной жизни, что, даже с поправками на несколько большую дозволенность, всегда существовавшую для братских демократий, рождало ощущение какой-то фантастической нереальности происходящих там изменений. Возникла надежда на осуществимость и в нашей стране «социализма с человеческим лицом», ставшая, как я понимаю, вершиной и смыслом интеллектуальных поисков «шестидесятников». В этом смысле и я был одним из тех, кто лишь после дружного обвала социалистических режимов, последовавшего в конце восьмидесятых годов, обнаружил принципиальную неосуществимость этого «идеала».

А тогда, отвергая довлеющую над нами реальность, я пытался понять, как и каким образом эта реальность может быть преобразована в более «правильную» и

справедливую. После знакомства с попавшим в мои руки переводом «Социальной психологии» Т. Шибутани показалось, что выход может подсказать этот новый для меня способ понимания социальной реальности. Книга настолько увлекла меня, что я отдал за нее привезенный из армии том Б. Пастернака из Большой библиотеки поэта и уже готов был идти на психфак. Но вечернего на отделении социальной психологии тогда не было, и я подал документы на отделение политэкономии экономического факультета, ориентируясь на первую часть в названии будущей специальности.

Кто из преподавателей был тебе ближе?

Приобщение к профессии началось с чуть ли не постраничного заучивания наизусть «Капитала». Параллельно с этим нам читался и курс политической экономии капитализма, логика которого была очень хорошо изложена в учебнике Э.Я. Брегеля. Поскольку он незадолго до того уехал в Израиль, курс надо было осваивать по любому учебнику кроме этого. Но эффект запретного плода действовал сильнее — и в результате «мы экономику учили и по Брегелю». Была еще масса чисто идеологических курсов, открываемых историей КПСС. Но после всех моих идеологических прививок, тем более после ввода братских танков в Прагу и беззастенчивой лжи разгоревшейся травли А. Солженицына и А. Сахарова, все эти курсы воспринимались не более как изложение логики чуждой идеологии, которая интересна лишь своими слабыми, заведомо опровергаемыми местами. Из не вызывавших отторжения курсов запомнились лекции Л.С. Бляхмана. Было и несколько чисто математических курсов по теории вероятности и математической статистике, которые оченьгодились мне в дальнейшем.

Вскоре обнаружилось, что большинству моих сокурсников преподаваемые предметы нужны лишь для получения диплома о высшем образовании, и я стал приглядываться к более активной студенческой жизни на дневном отделении нашего факультета. Как-то на доске объявлений прочел сообщение о назначенном на субботу — удобное для меня время — заседании СНО по проблемам политической экономии капитализма. Курировал эти заседания В.Л. Шейнис. Через какое-то время, проштудировав только что вышедший у нас перевод книги Ф. Кумбса о кризисе образования в современном мире, на одном из заседаний этого СНО я сделал доклад на эту тему. Следующий мой доклад был посвящен категории «производительный труд» и полемике вокруг нее. Виктор Леонидович никогда официально не числился среди моих преподавателей, но обе мои курсовые работы и диплом были написаны под его дотошным контролем.

В студенческие годы ты начал работать в ленинградских секторах Института социологии РАН СССР, в коллективе В.А. Ядова. Как это произошло?

Где-то на третьем курсе нас, студентов-вечерников, стали подталкивать к переходу на работу, близкую к будущей специальности. Я решил, что самой близкой может быть работа лаборанта при одной из кафедр политэкономии. Надо было лишь смириться с переходом с двухсот рублей, которые я получал на заводе, на лаборантские 80. Чего проще, и вообще не в деньгах счастье, — решил я и начал обход этих кафедр. Вполне интеллигентные дядечки, как правило, доктора наук, весьма вежливо разговаривали со мной ровно до того момента, пока я не называл им свою фамилию. После чего они так же вежливо начинали объяснять мне причины, по которым еще пять минут назад вроде бы имевшееся у них место сейчас несвободно, и мне лучше обратиться еще куда-нибудь. Трудоустройство по профессии явно затягивалось, и я как-то рассказал об этом В.Л. Шейнису, и через некоторое время он предложил мне обратиться к одному из сотрудников ленинградских секторов Института конкретных социальных исследований АН СССР, ведавшему набором интервьюеров для работы в секторе В.А. Ядова.

Вскоре состоялось мое первое знакомство с «сектором». Выдержав достаточно пристрастный экзамен у весьма молодого человека, требовавшего от своих подчиненных обращения к себе по имени-отчеству, я был принят в группу интервьюеров. Мне выдали толстую пачку всевозможных инструкций для интервьюеров, которые я должен был внимательнейшим образом изучить и неукоснительно соблюдать. Работа оказалась не только ответственной, но, самое главное, очень интересной. Особенно нравилась мне работа с глубинным интервью – ЦО-8, которое было самой трудоемкой из всех 18 методик проекта «ЦО» (ценностные ориентации). В нем должны были участвовать сразу двое интервьюеров. Один вел беседу, в соответствии с подробно разработанным «путеводителем», а в обязанности второго входила максимально близкая к тексту запись «протокола» интервью. Роль «интервьюера» и его «ассистента» мы должны были исполнять поочередно.

В отношении к порученным «ролям» и их исполнению наша команда была очень неоднородна. Мои исходные ресурсы (масса пригодившихся в этом новом для меня деле ранее приобретенных навыков, но главное, искренний интерес неопита) способствовали все более частому попаданию протоколов, выполненных с моим участием (в роли интервьюера или его ассистента), на глаза проглядывавших их авторов проекта (в том числе и В.А. Ядова). Это, вероятно, и способствовало моей «стремительной карьере» – примерно через месяц мне предложили стать руководителем группы интервьюеров. Поскольку в тот период «полевые работы» официально считались основным содержанием деятельности сектора и с информации о состоянии дел на этом «направлении главного удара» начинались все секторальные заседания, то примерно в это же время произошло и мое «допущение» на эти собрания «клуба избранных». Поначалу меня приглашали лишь для страховки главного руководителя поля, который из-за своих постоянных командировок в Москву не всегда был в курсе дел, и мне иногда приходилось давать нужные справки за него. Но спустя несколько месяцев командировки завершились окончательным переездом в Москву, и мне было предложено взять на себя ответственность за все поле.

Но к тому времени ты уже завершал свое образование?

Не совсем. До получения диплома мне оставалось еще добрых пара лет. Но тогда это было не столь важно – учиться теперь предстояло не столько в университете, сколько на рабочем месте.

Приближалось время подготовки и защиты дипломной работы, и пора было определяться с темой. Проще всего было бы представить в качестве таковой слегка обновленный и расширенный вариант курсовой работы, посвященной анализу понятия «производительный труд» и полемики вокруг него. По рекомендации Шейниса, я направил ее на конкурс студенческих работ, где она, по его данным, несмотря на свою откровенную антиортодоксальность и едкие саркастические реплики в адрес тогдашних политэкономических генералов, благополучно прошла все местные инстанции и вышла на общесоюзный уровень. Превратить ее в дипломную работу по политэкономии было сравнительно несложно. Однако я уже понимал, что в будущем мне больше не придется иметь дело с чисто экономическими проблемами и, скорее всего, я буду заниматься примерно тем же, чем уже и так занимаюсь в секторе у В.А. Ядова. Значит, мой диплом должен был быть связан с конкретикой социологического опроса.

Сочетание интереса к политэкономической категории «труд» и центральных гипотез исследования, описанного в выученной мной к этому времени чуть ли наизусть книге «Человек и его работа», подсказывало и основную задачу такого опроса. Он должен был быть направлен не только на проверку гипотезы о «превращении труда в первую жизненную необходимость», но и на обнаружение конкретных форм этого,

согласно тогдашним догмам неизбежного, процесса. Имея подробное описание опроса ленинградских рабочих, проведенного сотрудниками В. Ядова в 1962 году, и собственный опыт организации куда более сложного опроса инженеров в проекте «Ценностные ориентации», я чувствовал, что смогу без посторонней помощи выполнить эту работу. В.А. Ядов был не против. Но А.Г. Здравомыслов заметил, что авторскому коллективу не следовало бы совсем бесконтрольно отдавать такое ответственное исследование в руки новичка. Делать инициативную работу «под контролем» я и сейчас не в состоянии, а тогда тем более. Под руководством В.Л. Шейниса я написал дипломную работу на тему: «Категория производительный труд в политической экономии капитализма», за что и получил квалификацию, которой мне так и не привелось воспользоваться: «экономист – преподаватель политэкономии». А разработанный тогда проект повторного исследования по «Человеку и его работе» был осуществлен спустя несколько лет.

По какой тематике ты работал в дальнейшем?

В соответствии со сложившимся в секторе «разделением труда», я занимался в основном проблемами обработки данных, а затем плавно перешел к более общим вопросам методики и техники социологического исследования. Этому способствовало не только сложившееся «разделение труда», но и мое собственное нежелание втягиваться в более предметные по своему содержанию области социологии, все больше попадавшей под идеологический контроль. В методику тогда еще не очень лезли, что и собрало в этой сейчас мало популярной области очень приличную компанию свободно мыслящей публики. На этой «нейтральной территории» я встретился не только со многими своими российскими коллегами, но и с ныне «иностранцами»: Валерием Хмелько и Володей Паниотто, Сергеем Раппопортом и Геворком Погосяном. Ну, а методическая оснащенность, в свою очередь, позволяла свободно работать хоть в социологии труда, хоть в социологии театра. Последней при поддержке Всероссийского театрального общества до самого начала перестройки я занимался вместе с несколькими другими представителями нашего «социологического цеха» (Б.М. Фирсовым, А. Алексеевым, О.Божковым и тобой), а также с сотрудниками театрального института Ю. Барбоем, В. Дмитриевским, А.Я. Альтшуллером и Б. Кудрявцевым.

По-моему, начало перестройки ты встретил безработным. Как это произошло? Что помогло вернуться в Институт?

Одной из официальных причин моего скандального увольнения из ИСЭПа, было «проведение несанкционированного социологического исследования». Правда, истинной причиной был не формально вменявшийся мне в вину анкетный опрос сотрудников института, посетивших премьеру Молодежного театра «Проводим эксперимент», приуроченную к XXVII съезду КПСС, а выступление на одном из институтских семинаров, посвященных тому же съезду. Искренне поверив инициатору перестройки, я призвал коллег поддержать решения партийного форума и покончить с имитацией научной деятельности, осуществлявшейся доживавшей, так мне казалось, последние дни администрацией института. Мой «прогноз» осуществился с точностью до наоборот, и с тремя строгими выговорами, полученными в течение двух недель после того выступления, я был выставлен из конторы с «волчьим билетом».

Но времена менялись, и через три месяца после моего изгнания, благодаря этим изменениям и заступничеству приближенных к М.С. Горбачеву А.Г. Аганбегяна и Т.И. Заславской, я вернулся в институт «победителем» и почти «прорабом перестройки». Теперь я мог, не обращая внимания на явное неудовольствие дирекции института, высказывать в ее адрес все, что я о ней думал. Мог вывешивать на «стене гласности» третьего этажа вырезки из крамольных прибалтийских газет, коротичевского

«Огонька», егоряковлевских «Московских новостей», ленинградской «Смены» и других перестроечных изданий, взламывавших устоявшиеся представления о должном. Постоянно нарастающая волна гласности, почти ежедневно вносившая в нашу жизнь переосмысление, казалось бы, несокрушимых официальных норм жизни и старых представлений, создала вокруг еще недавно незыблемых правил ореол некоторой неопределенности. В этой ситуации для осуществления несанкционированных опросов уже не требовалось особой смелости.

Рождение Центра изучения и прогнозирования

Вспомним 1989 год. Не мог бы детально описать возникновение твоей схемы уличных опросов?

Можно сказать, что вначале возникла не столько идея, сколько сама практика такого опроса. Случилось это, можно сказать, на стыке осознания актуальной потребности в информации об отношении избирателей одного из Ленинградских округов к первым в советской истории альтернативным выборам 1989 года и полного отсутствия обычных при решении подобной задачи ресурсов. Пасмурным февральским днем, мучаясь сомнениями по поводу эффективности предвыборных собраний, которые проводил 28-летний Юрий Болдырев (противостоявший первому секретарю Ленинградского горкома КПССА. Герасимову) в красных уголках, вмещавших не более полусотни избирателей почти полумиллионного избирательного округа я, преодолев некоторое внутреннее сопротивление, обратился к стоящему в конце пивной очереди мужику с вопросом: «Вы уже приняли решение, как будете голосовать на предстоящих выборах?». Он не послал меня подальше, а ответил по существу, и вскоре я обнаружил, что, пользуясь нехитрыми приемами, можно в считанные минуты получить достаточно надежную и к тому же дифференцированную статистику мнений большого количества людей.

У меня случайно оказался с собой блокнот «в клеточку» в половину формата А-4. Разделив одну из его страниц на десять колонок, я получил «пустографку» для записи кодов получаемой информации. Данные о каждом из опрошенных состояли из четырех позиций. Первая — основная позиция содержала варианты ответов конкретного человека (репондента). Поскольку в выборах участвовало только два кандидата, то полный «веер ответов» состоял всего из шести вариантов, «закрывавших» практически все возможные ситуации. Это мог быть либо один кандидат; либо — другой; респондент мог колебаться в выборе между кандидатами, мог не знать о предстоящих выборах, мог знать о выборах, но не хотел в них участвовать, и, наконец, нельзя было исключить, что человек не захочет рассказывать о принятом решении.

Пол и принадлежность к четырем возрастным группам (до 30 лет, между 30 и 45, от 45 до 60, старше 60 лет) определял «на глаз». Еще одна позиция — «культурный уровень», которым я, экономя время, попытался тогда заменить показатель образовательного уровня, вызвала в последствии наиболее сильную критику. Впрочем, в дальнейшем довольно быстро мы перешли на стандартный вопрос об образовании.

Опросив за два часа примерно 100 человек, я уже в метро по дороге домой подсчитал общее распределение ответов. Насколько я помню, пять человек ничего не знали о предстоящих выборах; примерно столько же было не желавших участвовать в них (до этого времени участие в выборах было не столько правом, сколько «почетной обязанностью» гражданина СССР). За кандидата от КПСС предполагали голосовать 13 человек, а за его, как тогда казалось, никому не известного оппонента — 57. Человек 12 не определились с выбором, а остальные — не захотели рассказывать о своем выборе.

В ходе этого импровизированного опроса я почувствовал, что симпатии моих собеседников к Юрию Болдыреву заметно превышали мои ожидания. Такое

свидетельство его популярности не могло не радовать. Ведь и начинал я опрос, видя какую информационную блокаду ему устроила команда кандидата власти. Мало кто верил в возможность победы над первым секретарем горкома партии. Возможно, в этих наблюдениях случилось какое-то аномальное смещение, вызванное относительно небольшим объемом выборки, — подумал я и решил, что полученный результат нуждался в проверке.

Вернувшись в округ, я опросил до вечера еще двести человек. С последними из них общался уже при падающем из витрин магазинов свете. Распределение позиций, полученное на общей выборке в триста единиц, практически не отличалось от того, которое было получено на первых ста. Именно эта устойчивость данных, а не относительная «простота» их получения стала для меня главным аргументом в пользу «научной обоснованности» обнаруженного метода. Впрочем, в тот вечер у меня не было уверенности в том, что полученный результат и впрямь может претендовать на столь высокие критерии. Я понимал, что вся эта самодеятельность нуждалась в серьезной проверке.

И как ты решил все это проверять?

На следующий день я рассказал Марии Мацкевич и Владимиру Гельману, которые вместе со мной участвовали в этом инициативном «социологическом сопровождении» избирательной кампании, о своих воскресных приключениях, показал им полученные результаты и попросил продолжить работу и довести выборку хотя бы до 500 человек. В понедельник вечером у нас были такие данные. Но и они мало отличались от тех, что были получены на первой сотне. Не скажу, что это окончательно убедило нас в их надежности. Во вторник, немного расширив круг интервьюеров, мы стали обладателями данных, в надежности которых сомневаться уже было очень трудно. Тем не менее, для общей очистки совести, а заодно и для обучения более широкого круга наших друзей этому нехитрому занятию, мы довели нашу выборку в начале до полутора, а затем и до двух с половиной тысяч. Когда, после нескольких контрольных опросов, мы в который раз получили соотношение 53:15 в пользу этого «никому не известного», мои умудренные предыдущим советским опытом коллеги лишь ухмыльнулись: дескать как секретарь райкома (таков был основной статус председателя окружной избирательной комиссии) сможет сообщить об этом своему прямому начальнику — первому секретарю горкома? Представить такое в то время и впрямь было очень трудно.

Каким официальным структурам ты прежде всего поведал свои находки?

В то время у нас не было никаких иллюзий по поводу того, что наши данные могут быть как-то опубликованы в официальной печати, мы были наивны, но не настолько. Поэтому свои результаты вместе с описанием процедуры их получения мы направили в Окружную избирательную комиссию, которой, в случае вынужденной «коррекции», предстояла, по нашим данным, довольно трудная работа. Одновременно наши результаты были отправлены в Ленинградский горком партии, первый секретарь которого был в этой истории главным заинтересованным лицом; в Ленинградский обком партии, в Центральную избирательную комиссию. Мы передали их Т.И. Заславской, возглавлявшей Советскую социологическую ассоциацию, корреспондентам газет и журналов, которые, хотя и не могли опубликовать наши данные в своих изданиях, немало способствовали «сарафанному радио», достаточно эффективно компенсировавшему в те времена отсутствие свободной прессы. Произошло это примерно за неделю до назначенных на 26 марта выборов.

Ты верил в то, что к твоим данным прислушаются?

Ни мы, ни наши друзья особенно не рассчитывали на эффективность этого

«предупреждения». Гораздо больше надежд возлагалось тогда на институт доверенных лиц, имевших право представлять оппозиционных кандидатов как в соответствующих избирательных комиссиях, так и непосредственно на отдельных избирательных участках, а также на команды «наблюдателей», работавших на уровне участковых комиссий. Именно они имели возможность не только непосредственно наблюдать за подсчетом голосов на конкретных участках, но и получать подписанные копии протоколов. Может наше предупреждение как-то и подействовало, но скорее всего, — общая атмосфера того времени, в которой наш «прогноз» был лишь одним из элементов, не позволила «скорректировать» этот результат в «нужном» направлении. Никто тогда на это не решился, и Болдырев получил свой мандат с результатом предельно близким к тому, который был приведен в наших «подметных письмах». Мы же приобрели статус народных героев, своей верностью профессиональной этике способствовавших общей победе добра над злом.

«Болдыревский сюжет» был единственным или за ним последовали другие исследования?

Он просто оказался наиболее известным эпизодом. Аналогичные сюжеты в остальных ленинградских избирательных округах на фоне этого ушли в тень. После того, как мы отработали нашу технологию оперативного уличного опроса в «своем округе», о чем практически сразу же стало известно нашим друзьям и коллегам; к нам стали обращаться представители других округов, с просьбой провести аналогичный опрос и у них. В ответ мы предлагали им выделить 15–20 психологически устойчивых, коммуникабельных людей. За полтора-два часа перед первым выходом «в поле» эти волонтеры проходили у нас «инструктаж», в ходе которого им рассказывали про основные правила и приемы, с помощью которых они должны были собирать данные о настроениях избирателей. Энтузиастов среди воодушевленной перестройкой ленинградской интеллигенции тогда хватало, сама технология была проста, поэтому до 26 марта мы успели провести опросы практически во всех избирательных округах города. В каждом из них в течение дня удавалось опросить не менее тысячи респондентов. Вечером того же дня в ВЦ нашего института мы заканчивали обработку собранных данных на институтской БЭСМ-6, бывшей тогда одной из самых, если не самой мощной машиной, использовавшихся в то время советскими социологами. Но помогала нам не только и не столько эта машина, сколько люди работавшие на ней.

На обсуждение итогов твоих прогнозов пришло почти все руководство Ленинградской партийной организации...

Случилось это после того как в середине апреля того же 1989 года в ходе очередного нашего «инициативного исследования» на почти пяти тысячной выборке обнаружилось, что две трети коммунистов Ленинграда выражают своему обкому недоверие, и это почти сразу стало всеобщим достоянием. Через неделю на заседании Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации должно было состояться обсуждение вопроса об участии ее членов в только что завершившейся избирательной кампании. Среди отчитывавшихся об этой работе были и мы. Где-то около трех часов дня, у входа в ИСЭП, располагавшийся на «правительственной трассе» точно посередине между Смольным и Большим домом, нас с Машей Мацкевич остановил первый секретарь Дзержинского райкома И.А. Бобров. «Похоже, Леонид Евсеевич, вы на свой праздник опаздываете?» — обращается ко мне, доброжелательно улыбаясь, человек, которого до этого я имел честь видеть лишь издали — он в президиуме, я в последних рядах «на галерке». А тут выясняется, что он знает меня в лицо и по имени-отчеству. Когда к тебе обращается такое высокое начальство, надо соответствовать. «Да, нет, еще есть минут десять. А Вы тоже к нам?» — «Не только я».

Остановились на солнышке. Обмениваемся какими-то ни к чему не обязывающими словами. Вдали на фоне по-весеннему высокого неба (28 апреля) контур Смольного собора и практически пустынная – без пешеходов – улица. В какой-то момент где-то на полпути от Смольного замечаю большую группу людей, идущих во всю ширину тротуара. «Похоже, какая-то демонстрация» – указываю я нашему собеседнику на приближающуюся к нам толпу. «Да, гости на ваш праздник идут» – ухмыляется он. В центре приблизившейся группы различаю знакомый по газетным фотографиям характерный седой «ежик» первого секретаря Ленинградского обкома, а рядом с ним такие же «широко известные» лица других партийных начальников города и области. «Неужто и в самом деле к нам?» – искренне удивляюсь я. «К вам, к вам», – смеется он и устремляется навстречу своему начальству. Мы же заходим в вестибюль института, где нас встречает торжественный караул из предусмотрительно принявших угодливые позы руководителей института.

К этому моменту наша семинарская комната, рассчитанная, в лучшем случае, на полсотни человек, уже была забита коллегами и другими сотрудниками института, которым пришлось размещаться по трое-четверо на каждой двухместной «парте». Первый ряд этой аудитории был предусмотрительно освобожден, его вскоре заняли наиболее важные из гостей (их охранники были вынуждены, нарушив инструкцию, остаться в коридоре и, смешавшись с толпой сотрудников ИСЭПа, не попавших в аудиторию, вытягивали шею в тщетной попытке ничего не упустить из происходящего).

Похоже, заработавшись в ВЦ, мы пропустили начало подготовки к этому мероприятию и только теперь поняли, что отчитываться придется не только перед своими коллегами, но заодно и перед практически полным составом бюро Ленинградского ОК КПСС, который мы терроризировали своими «подметными письмами» все последнее время. Но сейчас, похоже, они не в обиде. Часа три подряд они мужественно сидят на жестких досках в тесном душном помещении, и искренне пытаются найти ответ на мучающий их вопрос: «Что теперь им делать?». В их присутствии бюро Северо-западного отделения Советской социологической ассоциации, признает нашу профессиональную пригодность и принимает решение об учреждении Центра изучения и прогнозирования социальных процессов. С этого дня слово «прогноз» вводится в обозначение нашей команды, и продуктов ее деятельности.

Во что со временем превратилась технология уличных опросов? Кто кроме твоего Центра ее применяет?

Сама по себе техника «уличного опроса» в различных своих версиях используется достаточно широко. Меня же всегда несколько смущало такое обозначение, упрощающее суть нашего метода. Это название возникло в ту пору, когда главной отличительной его чертой представлялся свободный от внепрофессионального контроля и цензуры выход исследователя «на улицу», к людям, освобождающимся от тотального контроля над своим сознанием. В книжке, описывающей наш метод [3], говорится, что его можно было бы обозначить как «делегированное наблюдение». Ведь суть не в том, что мы опрашиваем на улице, а в том, что в ходе общения с людьми мы фиксируем не столько вербальные формулы их ответов, сколько наблюдаем за общей реакцией своих собеседников на поставленные перед ними вопросы. В этой версии метод использовался сотрудниками старого ВЦИОМа, а так же во многих исследованиях, проводившихся в Москве, Самаре, Воронеже, Кемерово, в Прибалтийских республиках (накануне их выхода из СССР) и даже во время недавних «электоральных событий» в Украине. Сейчас, насколько я понимаю, наиболее адекватно воспроизводится эта версия в исследованиях, осуществляемых под руководством В. Звоновского.

Ты работаешь в условиях переходного общества... меняется все в базисе и в

социальных институтах. Можно ли в этих обстоятельствах говорить о социальном прогнозировании?

Знаешь, тут «не до жиру». Тем более, сейчас, да и всегда, куда важнее понять, что происходит в нашем непредсказуемом, скрытом от обыденного сознания своей кажущейся очевидностью, социальном мире. К тому же, в обыденном сознании, да и в представлениях значительной части «политического класса» и отечественной «политической элиты» прогнозирование, как правило, ассоциируется с предсказанием фатально неизбежных событий. В такое «прогнозирование» я в принципе не верю. Для меня прогноз привязан к простейшему алгоритму: «если — то или тогда».

Что же касается электоральных прогнозов, то здесь мы имеем дело не столько с собственно социальным прогнозированием, сколько с более или менее качественным измерением по существу уже происшедшего. Другое дело, что обыденному сознанию и заинтересованным заказчикам такое измерение зачастую преподносится как «прогноз».

Примерно какое количество исследований проведено вашим Центром?

Честно говоря, не считал, к тому же боюсь, что тебя интересует не то, что можно, в самом деле, обозначить словом «исследование», а то, что мы на своем языке называем разовым замером, другие же, не мудрствуя лукаво, — опросом. Так вот, если об исследованиях, то по большому счету на протяжении последних 15 или около того лет мы заняты практически одним и тем же исследованием процессов трансформации социального сознания, внутри которого при желании можно выделить какие-то частные направления. Например, исследование интернальности/экстернальности, или на более привычном языке — принятие ответственности за свое благополучие и судьбу в целом (интернальность) или приписывание ее внешним обстоятельствам (экстернальность). Речь идет не о личностных свойствах, а о свойствах социального сознания, характеризующих различные участки социальные пространства (общества или группы людей); или одни и те же общества, но на разных этапах их развития. По большому счету, торможение на пути к радужным перспективам, открывшимся постсоветским обществам в августе 1991, которое мы вынуждены наблюдать в нашей стране, вызвано не столько злой волей или ошибками плохих руководителей, сколько естественной инерцией экстернальности социального сознания, доставшейся нам от нашего прошлого. Знание реальных факторов изменения этой базовой характеристики социального сознания позволяет более адекватно понять многие, не вызывающие нашего восторга, явления последнего времени. Среди этих «частных» направлений можно назвать исследования социального пространства наркотизма (на эту тему у нас вышли две книжки [4] и не менее полусотни статей). В отличие от медиков и других специалистов, активно занимающихся этой проблематикой, мы рассматриваем ее не сквозь призму отношения человека к наркотикам, а как систему отношений внутри социума по поводу того, что в нем называется наркотиками. Есть среди этих тем и адаптация различных социальных групп к изменяющимся социальным и экономическим условиям. Есть и отношение к насилию. Есть и другие. В целом таких «частных направлений» наберется около десяти. Если же речь о том, что мы называем «замерами», то, даже не считая того, что делали по нашим программам коллеги из других регионов, счет идет на сотни.

С самого начала своей деятельности ты тематически дистанцировался от тех, кто изучает общественное мнение. Почему тебе показалось это важным?

Изучающих общественное мнение интересуют мнения людей, нас же, если речь идет об электоральных сюжетах, больше интересовало их поведение. В других же случаях концептуальное видение своего предмета ничем не связывало нас с этим понятием. Да и с самого начала моего присутствия в профессии, мне, как правило, приходилось

заниматься не столько «мнениями», сколько поведением и детерминирующими его факторами. Среди них бывали «ценности» и «нормы», но практически никогда не было «мнений». Короче, не мой это язык и не мой способ понимания социальной реальности.

Где расположено социальное?

В последние годы ты развиваешь концепцию трансформирующегося социального поля. Какие обстоятельства – личные, собственно научные, общесоциальные – обусловили твой интерес к этой теме? Ты обнаружил какой-то тупик, из которого ищешь выход в опоре на ТСП?

Ну, во-первых, не последние, а, как минимум, лет 35 или практически все время своей причастности к тому, что у нас называется социологией. Меня всегда, скажем так, смущало стремление редуцировать социальный мир к некоторым осязаемым материальным (иначе говоря, вещным) субстанциям. Такой достаточно наивный (примитивный, вульгарный и т.п.) «материализм» естественен для обыденного сознания (или для научной мысли эпохи французского Просвещения), но попытка понять социальное устройство мира, не замечая того, что все возрастающая масса обстоятельств человеческого существования не может быть редуцирована к этим вещным проявлениям, мне всегда представлялась неадекватной. Собственно этому была посвящена уже моя самая первая курсовая работа по политэкономии, анализировавшая понятие «производительный труд».

Не мог бы ты назвать имена социологов или философов физики, работы которых ты учиываешь в развиваемых тобою построениях?

Имена, что называется, на слуху. Уже больше ста лет вслед за Э. Дюркгеймом все мы знаем, «что социальные факты надо рассматривать как вещи». Формула немудреная, но большинство числящих себя по нашему ведомству воспринимают ее в качестве то ли метафоры, то ли некоторого условного правила вербальных действий, которое не требует никакого специального, социального воображения, позволяющего увидеть реальную, а не условную материальность социальных фактов. Факты эти, являющиеся одной из форм проявления (существования) социальных силовых полей, не только вполне онтологичны, но и имеют для нас большую императивность, чем многие не введенные в социальный оборот явления вещного мира. Их пространство для каждого отдельного человека и всех людей вместе, как минимум, столь же реально, как и мир физически осязаемых предметов и людей.

Не мог бы ты ввести меня в суть твоих построений? Прежде всего, от чего ты отказываешься?

По моему убеждению, основным объектом и предметом социологического исследования являются не сами люди (их доступные внешнему наблюдению свойства), а социальные детерминанты, или социальные силовые поля, которые собственно и определяют способ миропонимания, ценностные ориентации и социальную деятельность людей. Существенно то, что эти поля «виртуальны», т.е. не обладают свойствами внешне наблюдаемой вещной, «материальной» субстанции и не редуцируемы ни к отдельно взятой личности или группе, ни ко всей совокупности людей, существующих в каждый данный момент на Земле.

Параметры социального пространства не улавливаются обыденным сознанием, а социология – это наука не о людях, а о социуме и его социальных «силовых» полях, в пространстве которых и осуществляется деятельность каждого отдельного человека и сколь угодно многочисленных групп (обществ).

Соответственно, от социолога ждут не заверений в том, что человек для него «главней» социума, а познания свойств тех социальных полей, в пространстве которых вынуждены жить люди. Между тем большая часть нашего профессионального сообщества, занятого социальными исследованиями, по-прежнему упорно ищет социальное внутри индивидуального. До середины семидесятых это делалось с помощью различных версий функционализма и всевозможных арифметических манипуляций с первичными показателями индивидуального сознания, теперь же «серьезные» исследователи практикуют «качественные методы», позволяющие с помощью извлечений из более или менее углубленных интервью иллюстрировать те или иные гипотезы о свойствах социума. Однако эти «качественные методы», даже в самых лучших своих проявлениях, – не более чем хорошо иллюстрированная социальная философия, коей, согласно нынешней моде, увлечено наше сообщество.

..и какова природа этих социальных полей?

На первом этапе своего становления «социальное поле» являлось следствием актуального взаимодействия ограниченной совокупности индивидов. Но не только. Уже в самом начале социальное поле определялось также и результатами их «предыдущей» активности, т.е. нормами, способами миропонимания, технологиями социальной и прочей деятельности, причем «веса» актуальной и прошлой активности были соотносимы. Сейчас же люди вынуждены проживать не только свои индивидуальные, но и совокупную «глобальную» общечеловеческую судьбу в пространстве уже существующих социальных полей, которые по своей «мощности» много превышают «мощность» любой индивидуальной активности.

В современном (актуальном) социальном процессе люди, как правило, являются лишь источником биофизической энергии социального поля (социальных полей). Но направленность их социальной активности детерминирована социальными полями и, прежде всего – социальной активностью предшествовавших поколений. Основная «масса» нынешних глобальных социальных полей обладает собственной инерционной энергией, а потому относительно мало зависима от актуальной активности отдельных людей, сколь угодно больших групп, да и всего населения планеты.

В этом случае, что собственно изучает социолог?

Для социолога индивид и его сознание является объектом наблюдения, а не субъектом, обладающим адекватным представлением об устройстве интересующего исследователя социального пространства и его силовых полей. В отличие от психолога, он ищет в человеке не индивидуальное, обеспечивающее его уникальность, а общее, «наиндивидуальное», обеспеченное его социализацией и актуальным воздействием социума (его силовых полей). Поэтому различные формы наблюдения за проявлениями действия этих полей представляются мне более адекватным социологическим методом, нежели широко используемые сейчас формы опросов, заимствованные у смежных дисциплин, в которых «опрашиваемый» в явной или неявной форме предстает как носитель объективного знания о свойствах этих полей.

Скажу жестче: люди, как правило, не могут быть объектом социологического изучения, а если и являются, то лишь в качестве элементов социального пространства, проявляющих для исследователя действие социальных полей, которые и должны быть основным объектом нашего изучения. Обратное – один из мифов, все еще господствующих в обыденном сознании, да и «профессиональное» от него далеко не свободно, особенно при отсутствии сколько-нибудь развитого социального воображения. Пока же считается вполне приемлемым числить себя по нашему ведомству при полной атрофии элементарных зачатков такого воображения. По-моему, это все равно, что считать себя музыкантом при полном отсутствии слуха.

Ты – жестче, и я – жестче. Можно ли утверждать, что единственным предметом социологии является социальное поле, а единственным социологическим методом – наблюдение?

Не единственным, а основным. Ведь социальный мир и детерминирующие формы и способы его «жизни» социальные поля существуют не в «безвоздушном пространстве», а в конкретике массы других обстоятельств, так или иначе влияющих на социальное поведение людей, а через них и на социальные нормы и ценности и их трансформацию. Скажем, цунами, смахнувшее сразу несколько стран Южной Азии, или накрывшая Новый Орлеан волна, сами по себе, хотя и значимые, но по началу лишь внешние для социального пространства обстоятельства. Однако последствия таких природных катаклизмов оказывают мощное воздействие не только на тех, кто пострадал от их разрушительных последствий, но и на общую систему представлений, норм и ценностей всех людей, населяющих нашу планету.

Как бы ты охарактеризовал отношение твоих коллег к развиваемой тобою концепции социальных полей?

У меня нет ощущения, что эти представления близки сколько-нибудь широкому кругу тех, кто числится по нашему ведомству. Скорей наоборот. Раньше меня это как-то смущало, но сейчас мне кажется, что, с учетом истории становления социальной мысли, в которой большая часть ее проявлений относится скорей к протосоциологии, такое отношение «большинства» вполне естественно. Это совсем не означает моей исключительной причастности к истинному знанию, но лично мне моя картина мира дает возможность видеть и понимать его лучше, чем это можно сделать с помощью других схем. Уверен, рано или поздно, со мной ли, без меня наше сообщество, а вслед за этим и «массовое сознание» преодолит нынешние атавизмы обыденного сознания и научится понимать окружающее социальное пространство более адекватно. Да и сейчас, как ты знаешь, словосочетание «трансформирующееся социальное пространство» прижилось в названии нашего постоянно действующего междисциплинарного семинара, который так и называется: «Актуальные проблемы трансформации социального пространства». В прошлом году вышел увесистый том с тем же названием, предисловие к которому, кстати, написал В.А. Ядов [5].

Профессиональные и гражданские наблюдения

Существует вечный спор о власти и интеллигенции: насколько близко аналитик социальных процессов может подходить (сотрудничать) с властью?

В социальном поле функция интеллигенции направлена на экспериментальный поиск и испытание новых моделей и форм социальной жизни. Это нетрудно увидеть в многовековой истории науки и искусства, являющихся основным полем деятельности сообщества и отдельных представителей творческой интеллигенции. В свою очередь «власть» ориентирована на закрепление уже найденных и тем или иным образом прошедших экспериментальную проверку моделей и форм социального поведения.

Исходя из этого, как мне кажется, и следует искать ответ на твой вопрос. Естественно, что отмеченная закономерность – хотя и важный, но далеко не единственный регулятор реальных отношений «власти» и «интеллигенции». Поэтому нет смысла искать однозначно линейных соотношений между двумя этими социальными группами и, тем более, отдельными их представителями. И, тем не менее, попытки «власти» игнорировать результаты поисково-экспериментальной деятельности «творческой интеллигенции», тем или иным образом транслируемые ей экспертным сообществом, чреватые существенными издержками для всего подконтрольного этой власти социального пространства. Еще более опасны попытки присвоения властью

«экспериментально-поисковой» функции. Российская история последнего столетия это хорошо иллюстрирует. Столь же непродуктивными оказываются подчас и опыты перехода интеллигенции во власть. Правда, в этом случае может иногда сработать механизм, предупреждающий об опасных последствиях задуманного «эксперимента над социумом», но тем не менее настоящий представитель этого сословия – в лучшем случае, «умный еврей при губернаторе», но ни в коем случае не собственно губернатор, и уж тем более не император.

Ты верил в то, что к результатам твоих исследований, итогам наблюдений власть прислушивалась?

Мне никогда (за исключением очень короткого периода, открывшегося после августа 1991 года) не приходило в голову идентифицировать себя и свои приоритеты с интересами и приоритетами власти. В лучшем случае, с властью можно было как-то взаимодействовать при достижении каких-то очень конкретных задач (например, получить ресурсы для проведения интересного тебе и по каким-то причинам ей исследования). Но чаще складывалось так, что само соприкосновение с ее представителями вызывало у меня почти физическое чувство брезгливости («власть отвратительна как руки брадобрея»). Поэтому обычно меня меньше всего интересовало, прислушивается ко мне власть или нет. Более того, та власть, которую мне обычно приходилось наблюдать в жизни, и без меня имела массу услужливых добровольцев, готовых нашептывать в ее уши все, что она благосклонно согласится услышать. На заре перестройки Абел Гезович Аганбегян по поводу подобной ситуации шутил: «Совсем власть оторвалась от народа, захочешь ей задницу лизнуть, так не допрыгнуть».

Я же всегда считал, собственно за тем и пошел в эту профессию, что социолог должен работать на общество и, в первую очередь, на ту его часть, которую власть пытается изолировать от возможности осознания реальных социальных координат своего существования. Знаешь ли ты, что наши военные до сих пор упорно блокируют возможность спутникового определения реальных координат физических объектов на российской территории? Во всей Европе, Штатах и т.д. такие системы позволяют сейчас практически мгновенно, а главное, абсолютно точно устанавливать собственное местонахождение или местонахождение интересующего тебя объекта и кратчайший путь к нему. А у нас даже карты для туристов до сих пор делаются со специальными отклонениями от реальности (по крайней мере, до самого последнего времени так издавались). Точно так же действовала наша власть весь советский период своего существования, да и сейчас, похоже, пытается восстановить эту идеальную для себя модель. В такой ситуации нормальный социолог обязан адресовать свои результаты напрямую всему обществу, а уж как оно ими распорядится, это отдельный вопрос.

Что изменилось за последние годы в отношениях социологии и власти?

«Власть», что называется, несколько свихнулась в стремлении навязать обществу свою версию «социальных координат», в которых оно оказалось по милости этой самой власти. Выглядит это не очень эстетично, но, насколько я понимаю, нынешнее наше общество это пока не очень волнует. Наиболее адаптированная его часть научилась решать свои проблемы без участия этой самой власти, а нередко и в обход ее. Мы хотели общества потребления, мы его имеем. Большую его часть, увы, не очень волнуют проблемы нравственности и социальной справедливости, если они не становятся препятствием к собственному индивидуальному благополучию. Его – как и нынешнюю власть – больше интересуют проблемы роста потребления. В этом отношении можно сказать: «народ и партия едины». Постоянно растущую часть «адаптированных» мало интересует, что «они» друг другу в этой Думе или правительстве говорят и обещают. Адаптировавшись к новой жизни, в азартные игры с государством они давно не играют.

Теперь – немного о нашем поколении, втором в советской-российской социологии. Границы поколений трудно указать, принадлежность к ним определяется не только годами рождения, но и самоидентификацией. Тем не менее, мы с тобою точно укладываемся в одно поколение, которое я по, скажем, созвучию с шестидесятниками называю «шестидесятилетними». Что ты скажешь о нашем поколении?

Если считать, что все мы (питерские-ленинградские) в той или иной мере «дети Ядова» или его ближайших друзей-товарищей по становлению советской социологии конца пятидесятых – начала шестидесятых, то мы и впрямь второе поколение. Но это лишь в самом общем случае (смысле), ибо, как мне представляется, на границе между первым и вторым поколениями этой самой советской социологии можно обнаружить массу персонажей, которые с одной стороны вроде бы сами ее отцы-основатели, с другой – такие же «дети» Ядова «со товарищи», как и мы. Не думаю, что у меня есть основания числить себя в одном ряду с Ю. Вооглайдом, А. Алексеевым, Б. Тукумцевым и т.д., однако, насколько я понимаю, они так же, как и я, являются «его» прямыми учениками. При этом они пересеклись с ним или другими отцами-основателями несколько раньше, что позволяет членить второе поколение на более ранних и более поздних. Можно и первое поколение разделить на семерку (или около того) «учителей»: В.А. Ядов, И.С. Кон, Ю.А. Левада, В.Н. Шубкин, Б.А. Грушин, Л.А. Гордон, В.Э. Шляпентох, – и их первых последователей. К тому же, следует, наверное, учесть и масштаб вклада конкретных представителей каждой когорты. Короче, если по самоидентификации, то я ощущаю себя одним из младших представителей «второго поколения», т.е. ядовских последователей. И хотя после меня у него «случилось» еще масса народу, про них я уже почти ничего не знаю. Как ученики младших классов отчетливо различают старшеклассников, тогда как для самих старшеклассников «малышня» почти неразличима.

Сам я учеником был достаточно плохим, ибо там, где другие доверяли «шефу» или подчинялись его авторитету, я часто не соглашался и спорил с ним, пытаюсь отстаивать свое понимание (особенно в вопросах методики, бывших поначалу зоной моей ответственности). Делал это излишне эмоционально, что, естественно, снижало убедительность моих аргументов, и наши споры нередко заканчивались его «административным решением».

Тем не менее, считаю Ядова своим основным, если не единственным учителем, ибо именно у него научился говорить не только себе, но и вслух: «не понимаю». На одном из первых секторальных семинаров, на который я был допущен «ядовскими небожителями» в качестве новоиспеченного руководителя группы интервьюеров, мне довелось впервые услышать его: «не понимаю». Он, по моим тогдашним представлениям, знающий все (или почти все) о загадочном для меня мире социальных отношений, публично признавался в непонимании каких-то арифметических пустяков, прозрачных даже для меня – студента третьего курса. Это было не укоряющее младших непонимание старшего, а искреннее желание любознательного человека понять пока непонятное. Для меня это было потрясением. До этого я как-то не догадывался, что всякое познание начинается с осознания непонимания, но тогда в этой фразе мне услышалась не столько глубинная методология познания, сколько внутренняя раскрепощенность, доведенная до пижонства...

По-твоему, что мы сделали? Мы только продолжение отцов-основателей или пошли дальше? Или, наоборот, сдали? Почему мы такие, какие мы есть?

Наша «самость», как мне представляется, в том, что мы начинали (а потом долгое время работали) в командах «отцов-основателей». Совокупность обстоятельств способствовала тому, что представители «второго поколения», даже добившись административной самостоятельности, в советский период предпочли продолжать

свой профессиональный путь по лыжне, проложенной «первопроходцами». Мы долгое время оставались под их концептуальным, да и просто «политическим» прикрытием. К тому же в рамках своих команд у многих из нас возникли свои внутрипрофессиональные специализации. Свои пути, если таковые все же появились, большинство героев второго поколения стали прокладывать лишь к концу советского периода. Но это уже не столько советская, сколько начало новой «постсоветской» социологии, освобожденной от идеологического присмотра правящей партии. У нее своя история, в которой часть этого «второго» поколения сумела вписаться в ряды первого поколения российской (постсоветской) социологии, тогда как другие так и остались в плену «заизвестковавших» их профессиональное сознание формул и методов эпохи советской социологии.

Ты не учился в аспирантуре, не был соискателем и, по-моему, никогда не ориентировался на подготовку кандидатской. Но, сейчас, анализируя прошлое и настоящее, я вижу, что ты не один такой. Почему среди наших друзей и коллег относительно немногие защищали диссертации?

В советский период у тех, кто шел в социологию, можно было выделить два типа профессиональной мотивации. Один можно свести к той или иной форме жизненной карьеры, требовавшей от человека по возможности большей адаптации к сложившимся в тот период нормам профессионального поведения, стержнем которых был статусный рост, тесно связанный с защитой кандидатской, а затем и докторской диссертации. Не то, чтобы все защищавшиеся в тот период были карьеристами, но обычный для большинства профессий квалифицированного труда статусный рост был для них, как минимум, естественен.

В другом типе доминировал интерес к самому процессу существования в профессии, позволявшей узнавать об окружающем социальном пространстве массу интересного. Я не говорю о том, что второй тип мотивации возвышает тех, кому она присуща. Отнюдь. Тем более, что в большинстве случаев люди мотивировались обоими типами, и речь может идти лишь о большей или меньшей выраженности каждого из этих мотивов, их пропорциональном соотношении. Для меня наглядным примером «статусной карьеры» в нашей профессии был в то время Володя Магун, безусловно, один из самых заметных членов ядовской команды, с блеском защитивший свою кандидатскую диссертацию почти сразу после окончания психфака и тем не менее так и оставшийся в статусе младшего научного сотрудника весь период своей работы в ИСЭПе. Формально в том же статусе были Олег Божков и я, но мы все это время имели солидную добавку от нашего участия в театральные исследования, то есть зарабатывали значительно больше, чем «МНС со степенью» В. Магун. Так стоило ли тратить время и силы на всю эту имитацию научной деятельности и бюрократическую волокиту, когда вокруг столько интересных дел?

Более года ты делаешь трудоемкую и важную работу — отслеживаешь российский интернет и ежедневно рассылаешь широкому кругу специалистов «знаковые» материалы о текущей политике. Я понимаю, что это и есть пример наблюдения за трансформирующейся социальной реальностью. В чем смысл твоего дела?

Во-первых, не весь российский Интернет — лишь те его части, которые представляют для меня профессиональный интерес (правда и за литературными новинками в Интернет-версиях толстых журналов и электронных библиотеках немного приглядываю). При «быстром» Интернете на выделенной линии с неограниченным трафиком, который у меня есть, это не так уж трудоемко. А рассылаю потому, что знаю об относительно меньших возможностях моих коллег. В этой ситуации грех было бы не «поделиться», к тому же информация — не деньги, сколько не делись, ее меньше не

станет.

Получается ли в результате «наблюдение за трансформирующейся социальной реальностью»? Наверное. Но ведь всякий человек, обреченный проживать свою судьбу в пространстве этой самой трансформирующейся социальной реальности, так или иначе, хочет он того или нет, вынужден ее наблюдать (глаза бы на нее не смотрели!). Другое дело, что Интернет обеспечивает относительно больший объем информации, а выработанный способ ее прочтения дает несколько больший обзор. Впрочем, пока я просто наблюдаю.

Борис Докторов

КАК ЭТО БЫЛО (комментарий к интервью с Л.Е. Кесельманом)

2 июня 1986 года я взял толстую тетрадь большого размера и начал записывать в ней дискуссию, происходившую на одном из семинаров Института социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССР, в котором я тогда работал. Так случилось, что я продолжал записи в той тетради в последующие дни, и постепенно фиксация всего происходившего стала привычкой. Мои друзья немного подшучивали надо мною, но я продолжал начатое. Когда почти 200 страниц были заполнены, началась другая тетрадь, за ней третья... Я не только кратко записывал события, в которых участвовал, но клеивал в «амбарную книгу» программки семинаров, визитные карточки людей, с которыми встречался, некоторые фотографии, планы и результаты работ, которые я делал, газетные вырезки, имевшие отношения к происходившему... Сейчас завершается тетрадь №19, и прошедшие почти двадцать лет представлены на трех тысячах страницах.

Отмеченное Л. Кесельманом заседание Бюро Северо-Западного отделения Советской социологической ассоциации, состоявшееся 28 апреля 1989 года, планировалось как рядовое профессиональное мероприятие, но оно стало необычным. Я тогда был Председателем Бюро, потому участвовал в подготовке заседания, вел обсуждение и следил за реализацией принятых решений. И сегодня считаю необходимым добавить к описанию Кесельмана ряд деталей, интересных и важных для будущих историков советской, тем более – петербургской социологии. В моих тетрадях сохранился необходимый материал.

Прежде всего отмечу, конец зимы – весна 1989 года были временем активного участия социологов Ленинграда в политической жизни города. Мониторинг отношения избирателей к кандидатам в Народные депутаты СССР, участие в избирательных кампаниях, работа наблюдателями на избирательных участках в день голосования, сотрудничество с нарождавшимися тогда неформальными движениями – это лишь несколько направлений деятельности членов Социологической ассоциации.

Известные горбачевские выборы состоялись 26 марта 1989 года. Примерно через месяц ленинградские корреспонденты «Правды» писали: «Факт ныне общеизвестный: шесть партийных и советских руководителей Ленинграда и области, в том числе первый и второй секретари обкома КПСС Ю. Соловьев и А. Фатеев, первый секретарь горкома А. Герасимов, не набрали достаточного количества голосов избирателей и не получили мандаты народных депутатов СССР» [6]. В статье отмечалось о предупреждении социологов о том, что на выборах «может не пройти ни один из руководителей города». Несмотря на сокрушительный проигрыш номенклатуры, 10 апреля 1989 года мне как одному из руководителей социологической ассоциации позвонила инструктор ОК КПСС Аксана Михайловна Никитина, которая от имени заведующей отделом пропаганды Галины Ивановны Бариновой и от себя просила поблагодарить Кесельмана за материалы о выборах, которые он им направлял. Тогда же она обещала организовать

встречу с Бариновой. Никитина хорошо знала социологов города, несколько лет она проработала в ИСЭП.

Судя по фактам, приведенным в названной статье, и по звонку Никитиной, партаппарат начал анализировать ошибки ведения избирательной кампании и, скорее всего, почувствовал необходимость налаживания контактов с социологами. 14 апреля состоялась полутора часовая беседа с Бариновой и Никитиной, в которой говорилось о необходимости создания системы изучения общественного мнения в городе и области.

В начале третьей декады апреля секретарь Бюро ассоциации Галина Алексеевна Румянцева разослала членам Бюро повестку заседания, намеченного на 28 апреля на 15 часов. Предполагалось рассмотреть четыре вопроса, среди которых были: 1. Обучающие семинары социологов в выборах народных депутатов СССР; 2. О деятельности общественного Института по изучению и прогнозированию социальных процессов. Кесельман был одним из тех, кто готовил первый вопрос, и единственным докладчиком по второму вопросу. По существовавшей в то время традиции информация о планировавшемся Бюро была направлена и Никитиной, как тогда говорили, «курировавшей социологию».

27 апреля я был неожиданно приглашен в обком КПСС, где на встрече с Бариновой и Никитиной мне было сказано о возможном приходе на заседание Бюро руководителей партийных организаций области и города. Было подчеркнуто, что это будет встреча именно с социологами, а не с руководством ИСЭП, которое будет об этом специально извещено. Меня просили не очень популяризировать намечавшуюся встречу; я сообщил о ней лишь членам Бюро, с которыми у меня были наиболее добрые отношения: А.В. Баранову, М.Н. Межевичу, Б.М. Фирсову и И.П. Яковлеву.

Далее было все, как вспоминает Кесельман. Когда я, встретив высокое партийное руководство в вестибюле института, поднялся в предназначавшуюся для заседания аудиторию, я увидел в ней очень много народу. Не знаю, как это произошло, как распространялась информация.

По первому вопросу, согласно записям в моем «гроссбухе», выступил 21 человек; видимо эта встреча мне сразу показалась необычной, в дневнике зафиксированы даже данные о том, сколько времени говорил каждый из них. Началось все в три дня, и до половины седьмого «гости» слушали социологический анализ избирательной кампании и причины их неудач.

В 18:32 я сказал: «Еще пару месяцев назад мне могло лишь присниться, что я говорю: «Слово представляется кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю ленинградского Обкома КПСС, тов. Соловьеву Юрию Филипповичу», но вот именно это я сейчас и говорю». Слова Соловьева у меня записаны так: «Жизнь заставила нас придти к вам. Не то, что мы провалились. Это — благо. Жизнь заставила нас пересмотреть планы. То, что вы сегодня рассказываете, для меня — откровение. Я не знаю, где лежат материалы ваших исследований. Мы должны работать совместно. Без социологии нам не обойтись. Общество так быстро изменяется, что нужно его изучать, прогнозировать. Мы проведем Бюро обкома КПСС по социологическим исследованиям. Будем решать ваши вопросы». И еще несколько предложений. Выступление было коротким, затем последовало полтора десятка вопросов.

Мои записи в целом совпадают с тем, как в небольшой заметке «Завершилась война с социологами?» передала содержание выступления Соловьева корреспондентка «Московских новостей» Нина Беляева, не знаю как оказавшаяся на этом заседании. Возможно, я тогда не смог купить выпуск газеты на русском языке, у меня хранится лишь вырезка из английского издания [7]. Ленинградские газеты ничего не писали об этом событии, скорее всего — не было на то указания.

Соловьев свое обещание выполнил. 18 мая 1989 года состоялось Бюро обкома КПСС, на котором в полном соответствии с практикой того времени рассматривался

вопрос «о дальнейшем развитии социологических исследований в целях изучения, формирования и учета общественного мнения в практике партийной работы» [8].

Возможно, это вообще было одно из последних в истории КПСС рассмотрений проблем социологии. Говорилось о многом, планы были приняты напряженные и многообещающие. Однако выполнять все это никому не пришлось. В стране начинались события, в которых социологов никто не слушал. А через два года с небольшим не стало КПСС, а затем и самой страны.

Примечания:

1. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. редактор Г.С.Батыгин. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1999; [Фирсов Б.М.: «...О себе и своем разномыслии...»](#) // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. 2005. №1. С. 2–12; [Гишинский Я. И.: «...Я начинал как чистый уголовник...»](#) // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. 2005. №2. С. 2–12; Я.С. Капелюш (1937–1990) // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. 2005. №2. С. 13–21; [Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...»](#) // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев*. 2005. №3. С. 2–11; 2005. №4. С. 2–10
2. Висходной еврейской транскрипции – Егoшуа, что мало отличается от булгаковского Иешуа. Но поскольку религиозные реминисценции в те времена не шибко поощрялись, то вместо вполне естественного Егoшуевича (а в просторечии и вовсе – Исусовича) я оказался «Евсеичем».
3. Кесельман Л.Е. Уличный опрос в социологическом исследовании. Самара–Санкт-Петербург: Самарский областной Фонд социальных исследований. Институт социологии РАН. Санкт-Петербургский филиал. 2001.
4. Кесельман Л.Е. Социальные координаты наркотизма. Санкт-Петербург: Медицинская пресса. 1999; Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Социальное пространство наркотизма. Санкт-Петербург: Медицинская пресса. 2001.
5. Актуальные проблемы трансформации социального пространства / Под общей редакцией С.А. Васильева. Санкт-Петербург: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2004.
6. Волынский Н., Логинов В. Затянувшаяся пауза. Размышления о некоторых уроках выборов в Ленинграде // *Правда*. 20 апреля 1989. С. 2.
7. Belyaeva N. Is The War With Sociologists Over? / *Moscow News*. №20. 14 May. 1989.
8. В обкоме КПСС / *Ленинградская правда*. 19 мая. 1989.